

Е. Р. Пономарев

К вопросу о русских европейцах: «Письма русского офицера» Федора Глинки и национальное самосознание

Статья рассказывает о переменах, происходящих в русском национальном сознании в ходе Отечественной войны и шире – наполеоновских походов русской армии. Книга Ф. Н. Глинки «Письма русского офицера» иллюстрирует появление мироощущения «русского европейца», а также идеи культурной колонизации Европы со стороны России. Новое чувство, которое переживает русский человек в Европе на страницах Глинки, рассматривается в перспекции: в текстах, созданных А. Герценом, Ф. Достоевским, советскими писателями, это чувство обретает новые черты, но сохраняет культурно-историческую основу, сформированную Отечественной войной.

Ключевые слова: Федор Глинка, «Письма русского офицера», русское национальное сознание, Отечественная война, Наполеон, русский европеец

Evgeny R. Ponomarev

To the question of the Russian Europeans: «Letters of Russian Officer» by Fedor N. Glinka and national mentality

The article examines the famous changing of Russian mentality in the epoch of Napoleon wars. The book «Letters of Russian Officer», written by Fedor N. Glinka, is the best illustration how the feeling of «Russian Europeans» appears. It goes hand by hand with the idea of Russian cultural colonisation of Europe. The new feeling, which came to Russian people, when they pass Europe through with Russian army, was examined in prospect: the texts by Alexandr Herzen, Fedor Dostoevsky, many Soviet writers transformed this feeling, but on the constant cultural basis, having been formed during the Napoleon wars.

Keywords: Fedor Glinka, «Letters of Russian Officer», «Pis'ma russkogo oficera», Russian mentality, Napoleon wars, Russian European

«Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки можно назвать забытой книгой. Существенно повлияв на современников¹, отразившись в зеркале русской классики, «Письма русского офицера» довольно скоро перешли в разряд второстепенной литературы.

Объяснений этому много. Во-первых, форма путешествий, имевшая в XVIII в. первостепенное значение, в XIX–XX столетиях стала восприниматься как сугубо периферийная. Во-вторых, отечественное литературоведение, более ориентированное на фигуру автора, чем на представления о жанровой общности текстов, поместило «Письма» в раздел «Разное» ячейки «Творчество Федора Глинки». А поскольку поэт и писатель Федор Глинка воспринимался как автор даже не второго, а третьего ряда, то и «Письма русского офицера» получали статус дополнений к третьестепенной поэзии². В-третьих, важность выделения литературы путешествий в отдельную линию литературного развития у нас долго ставилась под сомнение. Однако если посмотреть на «Письма» с точки зрения жанровой истории литературного путешествия, то многогранное путешествие Глинки, занявшее около десятилетия, меняющее маршруты и точки зре-

ния, но вместе с тем сохраняющее единство замысла и построения, перемещается в первый ряд литературного процесса. Оно оказывается не менее важным, чем соседствующие с ним «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина и заграничные письма Д. И. Фонвизина.

Однако сегодня значение «Писем» Глинки снова выходит на первый план. Перед нами важнейший документ «истории идей», не просто фиксирующий одну из важнейших перемен в русском национальном сознании (в период наполеоновских походов Россия впервые стала вести диалог с Европой и вела этот диалог на равных), но и демонстрирующий эту переменную в динамике – от 1805 к 1814 г. Начатые за несколько лет до 1812 г. и законченные зарисовками Парижа в 1814 г., «Письма» позволяют проследить преобразование русской ментальности «вследствие войны 1812 г.». Первая часть «Писем», посвященная военному походу против Наполеона в 1805–1806 гг. (опубликована отдельным изданием в 1808 г.; в первом издании описание похода делилось на две части), открывает сегодняшнему читателю сознание просвещенного русского до Отечественной войны. Четвертая часть «Писем» (все последующие части

опубликованы вместе с переизданием первой в 1815–1816 гг.) показывает войну 1812 г. изнутри. Перемены в сознании повествователя протекают непосредственно на наших глазах, мы видим, как в русское сознание входит понимание мирового значения России, зрелости и оригинальности русской культуры. Пятая-восьмая части повествуют о новом европейском походе. Эта кампания иллюстрирует радикальные изменения в отношении русского к Европе, произошедшие со времен Аустерлица. Таким образом, книга Глинки – не только новаторское комбинированное путешествие, начинающее собой путешествие нового времени, но и летопись роста национального сознания.

«Письма русского офицера» продолжают мощную традицию «путешествий», сложившуюся в литературе XVIII столетия. В качестве вершинных точек этого жанра можно назвать «Письма из-за границы», написанные Д. И. Фонвизиным (подвергающие все западные порядки критическому анализу и утверждающие, что жить в России много лучше и удобнее, чем за границей), и сентименталистские (созданные под влиянием европейской традиции Л. Стерна) «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина. У Карамзина перемещение в пространстве разворачивается параллельно движению по пространству души повествователя; жизнь становится формой литературного творчества, а литературное творчество – созиданием окружающей жизни. Сам герой-повествователь выбирает двоящуюся литературную позу: как показали Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, перед русским читателем автор «Писем» предстает знатоком европейской культуры и законодателем мод, перед европейскими собеседниками – посланцем юной цивилизации, ищущим истину у просвещенных мудрецов, как «юный Анахарсис в Афинах»³. Просветительский посыл карамзинских «Писем» доминирует над всеми прочими интенциями: путешествие в Европу становится школой мысли и чувства, учебником жизни.

Произведение Ф. Н. Глинки жидется на обеих традициях, однако не отождествляет себя ни с одной из них. Несмотря на сохранение сентименталистской «чувствительности», тонкости чувств и эмоций, идеи гуманности, повествователь с первой же страницы отказывается от стернианских корней. Перечисляя типы путешественников, указанные Стерном, он отмечает, что все эти типы к нему лично совершенно не подходят, ибо он «путешествовал по обязанности, а не от праздности или пустого любопытства»⁴. Чувствительный путешественник, не теряя чувствительности, обращается в путешественника делового, служивого.

Если у Карамзина позиция путешественника двоится в зависимости от падающего на нее света (европейский взгляд создает путешественника-ученика, взгляд из России – путешественника-учителя), то здесь позиция путешественника двоится изнутри: с одной стороны, он офицер русской армии – и именно в этом статусе путешествует (эта перемена настолько важна, что подчеркнута заглавием: Глинка сохраняет два первых слова карамзинского названия и меняет третье – письма не «путешественника», а «офицера»); с другой – в свободное от службы время он частный человек, способный наслаждаться увиденными красотами. Однако красоты привлекают путешественника поскольку-постольку: его пером движет не приватное чувство, а сама История. Его путешествие – не движение одинокого путника, а движение армии.

Новый тип раздвоения радикальным образом меняет природу текста. Например, глава, посвященная немецким землям, открывается следующим восклицанием: «Хорош путешественник! Кто не станет смеяться над ним! Проехав столько земель Германии, едва при конце схватился писать об ней. Признаться, о говорю это о себе; но ты знаешь, любезный друг, что я иду куда меня ведут, и не так как хочю, а как велят, то есть, я служу. Следовательно, и досужным временем очень не богат» (Ч. 1. С. 53).

Фрагментарность повествования, свойственная и стернианской традиции, превращается из сюжетного приема в мотивированную стратегию путешествия: за делами службы путешественнику некогда смотреть и видеть. Видение как таковое и у Карамзина – действие второстепенное, на первом месте – образовательно-просветительская программа. Глинка сохраняет эту двухчастную структуру, но на место просветительской программы приходят (репортажные по форме) описания военных действий. Если героями «Писем» Карамзина были знаменитые философы, ученые, поэты (Кант, Лафатер, Гердер, Виланд и т. д.), то герои «Писем» Глинки – это император, полководцы и прежде всего генерал Милорадович, адъютантом которого он состоит. Война выходит на первый план – и в глобальном ее значении, и в тактике частных «дел». На втором же плане остаются природные красоты, виды городов и замков, если на них достало времени. Просветительская программа сохраняется факультативно, преимущественно в политической (демонстрация «добрых нравов» русскими войсками) и геополитической сфере (рассказы о быте, нравах и государственном устройстве тех земель, по которым довелось пройти). Частично сохраняется и сентименталистская «чувствительность» – насколько это

К вопросу о русских европейцах: «Письма русского офицера» Федора Глинки...

возможно при описании войны. Однако все более и более «чувствительность» соседствует с объективным, как считали в ту пору, «здравым смыслом» – наследием фонвизинских писем. «Здравый смысл» организует описания иных стран и народов, «здравый смысл» оправдывает и войну.

Обогащение карамзинской формы «Писем» деловым подходом путешественника Петровской эпохи и критическим взглядом писем Фонвизина позволило, по выражению Эдварда Саида, «ментально реструктурировать» само отношение к Западу. Поза «юный Анахарсис в Афинах», использовавшаяся Карамзиным, заставляла читателя воспринимать Россию как варварскую Скифию, Париж – как просвещенные Афины. Глинка переворачивает сложившуюся оппозицию. В его произведении французы оказываются персами, галлами и прочими варварами, а россияне – людьми классической культуры, несущими Европе свои ценности (взамен европейских, искаженных французами) – осмысляемые, в конечном счете, как общечеловеческие: «Хранить дружество с соседями, помогать ближним и защищать утесненных издавна было священным обычаем Россиян; Великодушный наш Монарх исполняет сие ныне; мы спешим к берегам Рейна, где честолюбивый Галл уже возжег пожар войны. Туда стоны утесненных народов призывают защитников» (Ч. 1. С. 5–6).

Впервые русский чувствует себя в Европе подлинным европейцем – более европейцем, чем французы и немцы.

Эта перемена закладывает основы новой русской ментальности. Русский путешественник отныне ощущает себя не только культурно равноправным европейцем, но и культуртрегером, разъясняющим Европе забытые ею истины. Отсюда через «русских европейцев» Герцена и Достоевского (довольно разных по убеждениям, но единых в осмыслении своей культурной роли) идет прямая дорога к советским путешествиям в мир загнивающего капитализма. Текст Глинки формирует в русском сознании новую модель Европы и «заграницы», сохраняющую актуальность более двух столетий.

Модель строится на противопоставлении душевных качеств россиян устроенному быту европейцев. Всякий раз духовное совершенство русских перевешивает те полезные вещи, которые можно найти «у них». Яркий пример: русский офицер посещает или проезжает много замков – особенно выделяется замковая тема в Галиции и Польше. Рассуждение, вращаясь вокруг созерцаемого пейзажа, переходит к философии истории: обсуждаются не только замки, но и само рыцарство. И оказывается, что русские

более рыцари, чем европейцы: их рыцарство в душе, им не нужны замки. Зависимое положение Галиции и плачевное состояние Польши (вопрос о польской государственности поднимается в «Письмах русского офицера» неоднократно) становятся мощным аргументом. Замок материален и разрушается, рыцарский дух неколебим: «Почти по всей Польше, а равно и здесь в Галиции, отменно много древних замков; большая часть из них разрушена временем. У нас в России не видно подобных укреплений оттого, что Русские ограждали Отечество свое любовью к нему и, подобно Спартамцам, грудь свою поставляли твердейшим оплотом противу врагов» (Ч. 1. С. 9).

Античная ассоциация путешественника не случайна. С одной стороны, она следует античным кодам в тексте Карамзина – в какой-то мере, это рудимент путешествия XVIII в. С другой – античные параллели к современному историческому событию работают на новое самосознание путешественника. Например, по поводу Шенграбенского сражения сказано: «Триста Спартамцев побили двадцать тысяч Персов в неприступном проходе Фермопилском; а пять тысяч Россиян отразили семьдесят тысяч Французов на чистом поле! <...> Исполать героям Русским!..» (Ч. 1. С. 100). Карамзинская классичность (рядом с древнерусским «исполать» в этом рассуждении перевернута: русские оказываются духовными наследниками древних греков – первых европейцев, французы же сравниваются с варварами-персами. Сопоставления современности с античной историей рассыпаны по всему тексту «Писем», благодаря им текущие события постоянно ощущаются частью всемирного исторического процесса. Отступление русских войск от Браунау (после капитуляции австрийского фельдмаршала Мака) награждается таким комментарием: «<...> все утомлены от ретирады – О! сколь трудна она! Ксенофонта в ряд была ли тяжелее» (Ч. 1. С. 64). Если Карамзин был Анахарсисом, то Глинка воспринимает себя Ксенофонтом, выводящим греческое войско (после предательства союзников-персов) с вражеской земли и набрасывающим по ходу движения свой «Анабасис Кира».

Тематический переход от заграничного похода к поездкам по России во второй и третьей частях «Писем» в этом контексте вполне понятен. Ни Карамзину, ни Фонвизину не нужен был российский противовес красоте немецких земель. Путем, намеченным Глинкой, пойдут все российские путешественники XIX–XX вв., а также путешествия в советских толстых журналах, где рубрики «За рубежом» стабильно уравновешиваются рубриками «По Союзу Советов». Несмо-

тря на внешнюю неустроенность русской жизни (не такое и существенное, ибо нравы и природа в России прекрасны), страна, по мнению Глинки, преображается и быстрыми шагами движется в сторону прогресса и просвещения: «Все сии описания, послужа лучшим опровержением на клеветы иноземцев, убедят их, что и у нас были, есть и будут **самородные дарования** и что Русские точно ко всему способны» (Ч. 2. С. 9–10).

Центром «Писем русского офицера» становится четвертая часть, посвященная войне 1812 г. Здесь путешествие окончательно отходит от карамзинских традиций и, используя находки первой части, рассказывавшей о войне с Наполеоном, ищет новаторскую форму, соответствующую необычному содержанию.

Путешественник на сей раз обладает неопределенным статусом. Русским офицером он станет лишь в середине кампании, в Тарутино, явившись к генералу Милорадовичу. До этого момента он наблюдатель при армии, частное лицо. После Бородинского сражения повествователь на некоторое время отлучается с театра военных действий, сопровождая в тыл раненого брата. Это позволяет набросать грандиозную картину бегства мирных жителей от войны. Затем герой возвращается к армии и вновь становится офицером. Этот неопределенный статус усиливает поза «смоленского жителя», принятая повествователем сразу после сдачи и разорения Смоленска. Вскользь сообщает он, что от пережитых волнений отец его впал в горячку, а мать умерла. Сам он с братьями теряет дом и все имение. «Я веду совершенно кочующую жизнь, переезжая из шалаша в шалаш, от огня к огню» (Ч. 4. С. 40).

Путешественник становится странником, лишенным дома и семьи, движущимся по неопределенному маршруту. Сохраняя отчасти позиции «служивого» (по-прежнему перемещаясь вместе с русской армией «куда ведут»), он актуализирует традиции хождений и древнерусской литературы: его странничество вызвано разорением русской земли. В ту же сферу значений попадают и «чувствительные» рассуждения о владычестве смерти, тлене и бренности человеческих жизней: «Мне кажется, я переселился совсем в другой свет! – Куда ни взглянешь, все пылает и курится. Мы живем под тучами дыма и в области огней. **Смерть** все ходит между и около нас!.. <...> Здесь люди исчезают, как тени. Сего дня на земле, а завтра под землю!.. <...> тут **целыми обществами** переходят из сего на тот свет так легко, как из дому в дом! <...> Всякой делает свое дело и ложится в могилу, как в постель» (Ч. 4. С. 55–56).

Традиционно-сентименталистская метафо-

ра «могила – постель» работает в данном случае на ситуацию странничества: целый мир мой дом – в отсутствие реального дома.

Пространство из реально-исторического, каким оно было в первых частях «Писем», становится легендарно-историческим, по терминологии С. Н. Травникова⁵, сопоставимым по структуре с пространством паломнических описаний святых мест. Погружаясь в поток живой истории, вынося на своих плечах и тяжесть, и славу всемирного спасителя, Россия испытывает преобразование. Ей более не надо доказывать, «что Русские точно ко всему способны»; она в центре мира, на ее просторах решаются судьбы вселенной. Пространство России сжимается до точки, в которой идет брань Добра и Зла, и вместе с тем расширяется до всемирности. Сжатие и расширение пространств происходит в каждом большом сражении или месте концентрации войск – под Смоленском, на Бородинском поле (повествователь наблюдает за подготовкой к сражению с колокольни села Бородино), в Тарутино, в сражении под Красным. С одной стороны, сотни тысяч человек сходятся в одной географической точке. С другой – в этой точке решаются судьбы Европы и мира.

Еще ощутимей сжатие и расширение пространств во время отступлений и наступлений. С одной стороны, войска стремительно движутся по карте Европы. С другой – движение войск меняет эту карту до неузнаваемости. Границы тянутся за армиями, становятся гибкими и проницаемыми. А территории складываются, как карточные домики, сжимаются и перемещаются: «В начале октября был я несколько сот верст за Москвою, в Рязани, в Касимове, на берегах Оки. В ноябре дрались мы уже на границах Белоруссии; а 16 декабря пишу к тебе из Вильны. Так мыкается друг твой по свету! Такими исполинскими шагами шло войско наше к победам и славе!..» (Ч. 4. С. 150). Предпоследняя фраза – сохранение позы странника. За ней идет финальная фраза отрывка, сжимающая пространство и придающая русскому войску семантику богатства. Огромные пространства России сжимаются и как бы выталкивают из себя французов, помогая собственным войскам развивать огромную скорость.

Под влиянием этих движений пространства Россия становится неузнаваемой. Москва перед оставлением ее русскими войсками напоминает тихий уездный город: «О, друг мой! что значит блеск городов, очаровывающий чувства наши? <...> Отняли у Москвы многолюдство, движение народа, суету страстей, стук карет, богатство украшений – и Москва, осиротелая, пустая, ничем не разнится от простого уездно-

К вопросу о русских европейцах: «Письма русского офицера» Федора Глинки...

го города!» (Ч. 4. С. 73). Напротив, в Тарутине, рядом с бывшей деревней, возникает новый город – солдатская столица: «На месте, где было село Тарутино Анны Никитишны Нарышкиной и в окрестностях онога явился новый военный город, которого граждане – солдаты; а дома – шалаши и землянки. В сем городе есть также улицы, площади и рынки» (Ч. 4. С. 100). Во время бегства из Москвы, посреди Рязанской губернии, путешественник рассуждает о неравном распределении населения по территории страны, озирая огромное государство свысока, по-имперски: «Я еще в первый раз в здешних местах и в первый раз вижу, что Россия здесь так мало населена. Какие обширные поля и как мало жилищ! Кажется, что вся **населенность** в России сдвинулась к ее границам. Если б можно было сделать противное, чтоб народ стеснился ближе вокруг сердца своего Отечества; а **степи** отделили бы его от чуждых стран, дабы разврат и оружие иноплеменников не так легко проникло в него!» (Ч. 4. С. 78).

И в этом рассуждении путешественника наблюдаем одновременное расширение и сжатие пространства. С одной стороны, перед нами утопия изоляционизма: предлагается способ оградить огромную страну от влияний извне. Причем способ этот сопряжен с грандиозным перемещением миллионов (показательно упоминание «переселения народов» в дальнейшем). С другой – для имперского сознания, обитающего в центре империи, ничего кроме империи не существует. Получается, что весь мир в рамках этой утопии «стеснен» вокруг России и Москвы. Именно такое «стеснение» реализовано в кутузовском Тарутино.

Сражения же обретают мировую грандиозность благодаря последовательной гиперболизации. Например, рассказ о Бородинском сражении начинается так:

«Мой друг! я видел сие неизмеримо жестокое сражение, и ничего подобного в жизнь мою не видал, ни о чем подобном не слыхал и едва ли читывал.

Я был под Аустерлицем; но то сражение, в сравнении с сим – сшибка!» (Ч. 4. С. 66–67).

И через несколько страниц: «Нет, друг мой! ни берега Дуная и Рейна, ни поля Италии, ни пределы Германии давно, а может быть и никогда еще не видали столь жаркого, столь кровопролитного и столь ужасным громом пушек сопровождаемого сражения! – Одни только Русские могли устоять: они сражались под отечественным небом и стояли на родной земле» (Ч. 4. С. 71–72).

Легендарно-историческому пространству соответствует легендарность происходящих

в нем исторических событий. Абсолютное настоящее, подчеркнутое формой писем (повествователь неоднократно упоминает о записной книжке, в которую наскоро, до появления официальных сводок и, тем более, исторических сочинений, он заносит то, что видит сейчас⁶), прямо по ходу развертывания становится Великим Историческим. Это создается несколькими приемами.

Во-первых, параллели между текущими событиями и античной историей отныне не случайны и единичны, как было в первой части «Писем», а системны. Они более не украшение текста и не «поза» для повествователя или персонажа – они выражают глубинную суть происходящего. Если ранее они затрагивали Древнюю Грецию, то теперь целиком ориентированы на Рим. Главнокомандующий Барклай-де-Толли сравнивается с Катоном (из поэмы Лукана), назначенный главнокомандующим Кутузов предстает римским триумфатором: «Все жители городов выходят навстречу, отпрягают лошадей, везут на себе карету; древние старцы заставляют внуков лобызать стопы его; матери выносят грудных младенцев, падают на колени и подымают их к небу!» (Ч. 4. С. 50). Чуть далее – древним знаменем – над Кутузовым появляется римский (ставший по ходу мировой истории российским) орел: «Говорят, что в последний раз, когда Светлейший осматривал полки, **орел** явился в воздухе и парил над ним» (Ч. 4. С. 53)⁷. Пожар Смоленска уподоблен гибели Помпеи: «Теперь Смоленск есть огромная груда пепла; окрестности его – суть окрестности Везувия после извержения» (Ч. 4. С. 36)⁸. Наконец, в записи, датированной 1 января 1813 г., Россия напрямую уподобляется Римской империи грандиозностью переживаемой победы и духовного подъема: «Восстают веки древнего Рима, пробуждаются времена великих браней, славных Полководцев, веки всеобщего переселения народов... Напрасно! Древняя История, кажется, не найдет в себе года, который бы во всех многообразных отношениях мог сравняться с протекшим» (Ч. 4. С. 173–174).

Во-вторых, события описаны как космические, всеобщие – в них вовлечен весь русский народ и многие другие народы. Сквозная тема четвертой части – народная война. Зарождается она в самом начале похода, в момент выступления русских войск от Смоленска навстречу французам: «Солдаты будут драться ужасно! Поселяне готовы сделать то же. Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании. „Повели, Государь! все до одного идем!“ Дух пробуждается, души готовы. Народ просит **воли**, чтобы не потерять **вольности**. – Но **война**

народная слишком нова для нас. Кажется, еще бояться развязать руки. До сих пор нет ни одной **прокламации**, позволяющей сбираться, вооружаться и действовать где, как и кому можно. – Дозволят – и мы, **поселяне**, готовы в подкрепу **воинам**. Знаем места, можем вредить; засядем в лесах, будем держаться – и удерживать; станем сражаться – и отражать!..» (Ч. 4. С. 31–32).

Война и несущие ее французы – олицетворение Хаоса, справедливая народная война – порождение Космоса; она должна быть организованной сверху; поселяне, в свою очередь, как любой просвещенный народ всегда послушны и рассудительны. Народная война начинается после сдачи Смоленска: «Вооружайтесь все, вооружайся всяк, кто только может, гласит Главнокомандующий в **последней прокламации своей**. – **Итак – народная война!**» (Ч. 4. С. 37). В дальнейшем народная война не получит каких-либо ярких описаний (кроме кратких отчетов о действиях партизанских отрядов), она сохраняется на уровне стойкого ощущения, когда речь заходит об исключительной силе сопротивления иноземным захватчикам и благородстве гражданских чувств, изъясляемых простыми людьми. Народная война у Глинки слегка задрапирована в римские тоги, благодаря этому она хорошо стыкуется с первой группой приемов.

Впрочем, гражданские доблести населения местами сопровождаются весомыми оговорками. Например, во время бегства из Москвы путешественник, увозящий раненого брата, замечает: «Не совсем-то хорошо и то, что по той же самой дороге, где раненые солдаты падают от усталости, везут на телегах **предметы моды и роскоши**. – Увозят **вазы, зеркала, диваны**, спасают **Купидонов, Венер**; а презируют стоны бедных и не смотрят на раны храбрых!!» (Ч. 4. С. 84). Этот момент – готовое лекало для будущего романа «Война и мир», где Наташа Ростова, как известно, поступает по-граждански⁹.

В-третьих, для усиления гражданских доблестей русских используется французско-польская антитеза. Французы, претендующие на роль мирового светоча, и поляки, именующие себя «северными французами» (в штурме Смоленска, специально подчеркивает путешественник, полякам принадлежала едва ли не первая роль) – дикари и невежды. Носители Просвещения на самом деле уничтожают и цивилизацию и добрые нравы. Первый уничтоженный город – Смоленск (характерен сам стиль отрывка): «Наконец, утомленный противоборством наших, Наполеон приказал жечь город, который никак не мог взять грудью. – **Злодеи** тотчас исполнили приказ **изверга**. Тучи бомб, гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазейны,

церкви» (Ч. 4. С. 34–35). Далее следует Москва, а во время отступления из России – все что встречается на пути. Повествователь то и дело упоминает о дымящихся развалинах городов, среди которых он пишет свои записки. Во взятой с ходу Вязьме обнаружили заложенный в дымоходы порох. Так возникает противопоставление истинного просвещения просвещению ложному или, как выразится офицер в седьмой части, просвещению половинному, отрицающему добрые нравы.

Французская дикость окончательно обнаруживается во время зимнего отступления. «Один из наших проповедников недавно назвал Французов: **обесчеловечившимся** народом: нет ничего справедливее сего изречения» (Ч. 4. С. 136). Канныализм среди французских войск, пишет Глинка, принимает массовый масштаб. Едят только что убитых или умерших товарищей.

«Кстати, не надо ли в вашу губернию учителей? Намедни один Француз, у которого на коленях лежало конское мясо, взламывая череп недавно убитого своего товарища и с жадностью глотая горячий еще мозг его, говорил мне: „возьмите меня: я могу быть полезен России – могу воспитывать детей!“» (Ч. 4. С. 141).

Учителя-французы – тема постоянных обличений русского офицера, доходящая до анекдотичности из-за настойчивых повторений. Например, в записи о Рязани вроде бы обличаются откупщики, но откуда ни возьмись появляются и учителя-французы: «О Рязани, по причине краткого в ней пребывания, не скажу тебе ни слова. Я заметил только, что лучший и огромный из всех домов в ней есть дом **Откупщика**. Как разживаются у нас откупщики и Французы учителя!..» (Ч. 4. С. 81). Переживая из-за того, что москвичи вывозят из Москвы скарб, а не раненых, повествователь вновь сворачивает на французов: «С каким старанием сии скачущие за Волгу увозят с собою Французов и Француженок! – Берегут их как родных детей! – Какое Французолобие! – Несчастные! выезжая из **чумы**, везут с собою вещи, напоенные ядом ее!..» (Ч. 4. С. 83–84). Вслед за «чумой» появляется и идейное пояснение: «Друг мой! **Французы учителя** не менее опасны и вредны **Французов завоевателей**: последние разрушают царства; первые – **добрые нравы**, которые неоспоримо суть первейшим основанием всех обществ и царств» (Ч. 4. С. 90). Отрицанию вслед за тем подвергаются французские романы, которые читает знать, подражание всему французскому, мода на образовательные поездки в Париж (карамзинская схема путешествия) и, наконец, сам французский язык – что звучит почти в унисон Чацкому из «Горя от ума»: «Признаюсь тебе,

К вопросу о русских европейцах: «Письма русского офицера» Федора Глинки...

что сколько я ни люблю прежних Французских, а особливо драматических писателей, однако желал бы, чтоб язык их менее употребителен был у нас. <...> Крайне прискорбно видеть и в армии язык сей в излишнем употреблении. Часто думаешь, что идешь мимо Французских **биваков!**» (Ч. 4. С. 91–92).

Легендарность происходящих событий чудесным образом поднимает русских над французами, а Россию над Францией. Народная война за добрые нравы против плодов половинного просвещения, совмещенная с пробуждением гражданских доблестей, сама собой просвещает русский народ – в месяцы происходит то, на что должны были уйти многие годы. Времена накладываются друг на друга и складываются гармошкой, хронология нарушена, и Россия превращается в современный Рим: «Мой друг! **настоящее** повторяется в **будущем** так, как **прошедшее** в **настоящем!** Придут времена; лета обратятся в столетия и настанет опять для некоего из царств земных **период решительный**, подобный тому, который ныне покрыл Россию пеплом, кровию и славою» (Ч. 4. С. 144–145). Пепел Везувия, накрывший Смоленск, смывается кровью патриотов, и проступает новый Смоленск, Смоленск будущего – преображенный и просвещенный. В пятой части, возвращаясь домой из первого заграничного похода, путешественник видит, как русские, используя пленных французов, отстраивают заново город Борисов: «Видно, из Борисова хотят сделать хороший город. Дай Бог! у нас так мало хороших городов» (Ч. 5. С. 56). Вновь следуя к войскам в Европу, он остановится в Вильне. Это тоже хороший город, благоустроенный, европейский, «один из лучших городов в России» (Ч. 5. С. 98).

Путешествие по легендарному пространству России бок о бок с французской армией оказывается, в конечном счете, путешествием во времени. Об этом же, ссылаясь на мнение стороннего наблюдателя – представителя союзников английского генерала Вильсона, возвещает повествователь на пути преследования Наполеона: «Генерал Вильсон говорит, что **война сия подвинула Россию на целое столетие вперед на пути опытов и славы народной**. – Мой друг! молнии и зарницы электрической своею силою способствуют зрелости жатв; молнии войны пробуждают дух народов и также ускоряют зрелость их» (Ч. 4. С. 124).

В Европу входит иная русская армия – совсем не та, что пришла на помощь Австро-Венгрии в 1805 г. и сражалась при Аустерлице. Если раньше войска собирались «помогать соседям» и «защищать обиженных», то теперь их цель – освобождение всей Европы. Впервые русский

ощущает себя ответственным за судьбы континента и мира, представителем главного европейского народа. Под стать и новая «поза», выбранная повествователем для русского солдата, – это не римлянин (в заграничном походе римские параллели совершенно не годятся), а (периферийно использованный в первой части) средневековый рыцарь: «Не думаешь ли, что мы идем по неприятельской земле, как грозные завоеватели; что ужас предшествует нам, а опустошение нас сопровождает. – Нет, нас, по всей справедливости, можно назвать **рыцарями**. Их мужество и добродетели стали теперь нашими. Мы угрожаем сильным и защищаем слабых. Вера, законы и собственность для нас священны (Ч. 4. С. 180).

Время по-прежнему сложено гармошкой, рыцарские добродетели просто переходят на русских солдат. Пространство же, как и в отечественном походе, продолжает движение за русской армией; армия тащит его за собой. Петербург, когда-то возведенный по образу и подобию европейского города, сам становится образцом для европейских городов – прежде всего для вновь присоединенной Варшавы: «Висла прекрасная, широкая река, не уже Невы. Жаль, что жители Варшавы менее всего занимались ею. Если б берега сей реки одеты были камнем, как в Петербурге; если б какой-нибудь волшебник, собрав все лучшие 4-этажные дома, рассеянные по всему городу между лачужек и грязных переулков, выдвинул их на набережную; если б высокие холмы, на одном конце Варшавы лежащие, украсились хорошими строениями и садами: то Варшава была бы одним из первейших городов в свете!» (Ч. 4. С. 224–225).

Показательно также, что, при помощи ожившего сентименталистского кода, воображение преодолевает пространство и летит перед русским офицером – вступает в Варшаву за несколько дней до русских войск: «Нам нельзя еще было вступить в Варшаву; но воображение не знает оков невозможности; для него нет ни застав, ни караулов. Без позволения и билета очутилось оно в ней, теснилось в толпах народа, бродило по улицам, заглядывало в Прагу, искало следов великого Суворова, носилось над Вислою и любовалось великолепною мрачностью столицы» (Ч. 4. С. 206–207).

Преобразив пространство России во время Отечественной войны, заменив историческое пространство легендарно-историческим, текст путешествия начинает превращать в осязаемую легенду и пространства Европы. Главной достопримечательностью Варшавы оказываются следы Суворова, замирявшего Польшу в конце XVIII в. «Путешествие на Запад» впервые исполь-

зует механизм «экспортной коммуникации»: ничто польское не интересует повествователя в Варшаве, память о Суворове навязывается покоренному городу как наивысшая ценность. Если в первой части «Писем» русские несли Европе забытые ею европейские ценности, то теперь они несут с собой ценности русские, Европе неизвестные, и пытаются эти ценности прививать. Здесь неожиданно прорастают колониальные ростки: отныне европейская поездка любого русского писателя местами напоминает саидовский «ориентализм». Как показал Эдвард Саид, ориентализм – универсальная характеристика европейских культур в их отношениях с Востоком. Это общая система представлений, свойственная европейской цивилизации, – описание Востока в глобальном дискурсе от походов Александра Македонского до текстов Флобера и Фицджеральда; европейская рефлексия на восточные темы, помогающая реструктурировать, ментально колонизировать Восток и господствовать над реальным Востоком¹⁰. Начиная с «Писем русского офицера» и заканчивая европейскими сюжетами советской литературы, русская литература будет пытаться ментально колонизировать Запад, экспортировать туда собственные ценности и представления о жизни, заставить Европу быть такой, какой мы ее себе представляем.

Части, посвященные походам 1813–1814 гг.¹¹, заполнены элементами «экспортной коммуникации». Если немецкие земли в первой части были образчиком всеобщего веселья, спокойствия и счастья, то в пятой части путешественник полагает необходимым наладить русско-германский культурный обмен. Немецкий язык и немецкую культуру в России давно знают, осталось привить немцам интерес к русской культуре. В страну Гете и Шиллера русский офицер на полном серьезе несет томики Дмитриева и Карамзина. Самому Карамзину с его «Письмами» такое вряд ли пришло бы в голову: «Все Русское входит здесь в употребление. На многих домах надписи Немецкие написаны Русскими словами, а на иных и совсем по-Русски. <...> Неоспоримо, что слава народа придает цену и блеск языку его. <...> Теперь уже всякий Саксонец имеет ручной Российский словарь – и скоро, скоро может быть, – как сладко мечтать о сем! – богатый язык великого отечества нашего загремит на берегах Эльбы – и там, где победа украшает лаврами знамена народа Русского, станут читать Русских писателей; станут дивиться Ломоносову, восхищаться Державиным, учиться у Шишкова, пленяться Дмитриевым, любоваться Карамзиным!» (Ч. 5. С. 61–62).

Веймар для путешественника равно значим

и как город муз, и как столица сестры Государя. Дом в Бунцлау, где скончался Кутузов, выкуплен и будет превращен в храм – это путешественник отмечает особо. «Уважать русских» «в порядке вещей» (Ч. 7. С. 3) на всех германских территориях.

Впрочем, русский европеизм не столь радикален, как европейский ориентализм. Путешественник по-прежнему признает, что во владениях прусского короля и прочих немецких землях жизнь налажена и благоустроена благодаря мудрости правительства и трудолюбию подданных. Дома силезских крестьян кажутся повествователю господскими. Общественные повинности в Саксонии (перемена обывательских лошадей, рекрутский набор, помощь погорельцам после пожара) великолепно организованы. Дочери и жены простых немцев образованны, играют на фортепиано, знают историю с географией, но не стесняются помогать по хозяйству – сами готовят кушанье. Заметив, как хозяйская дочь готовит еду, повествователь сравнивает нравы немцев и нравы россиян. Оказывается, немецкая патриархальность сродни русской, у нас она лишь несколько забыта: «Здесь пришлось к слову и нельзя не заметить, что и предки наши, коренные Русские, воспитывая дочерей своих в чистоте нравов и страхе Божиим, приучали их с молодых лет заниматься хозяйством...» (Ч. 5. С. 25–26). В основе саксонской культуры лежит истинное просвещение, смягчающее нравы. Именно в эту сторону движется и преобразенная Россия. Картины Саксонии завершены утопическим перенесением саксонской благоустроенности на громадные просторы империи Александра: «О, Россия! Отечество мое, тысячекратно пространнейшее и могущественнейшее Саксонии, когда придет время, что ты будешь столь же многолюдна, цветуща и просвещенна, как сей прелестный уголок Европы? – Теперь ты одна из могущественнейших; тогда будешь ты счастливейшею из держав!» (Ч. 5. С. 167–168).

Взгляд, обретенный путешественником сразу после 1812 г., станет определяющим для всех последующих путешествий на Запад. Удобство жизни в Европе будет трактоваться как нечто наносное, случайное, формальное – в противовес России, духовно, внутренне, сущностно превосходящей Европу. Антитеза получит новую жизнь в советское время, когда путешественники будут писать о техническом превосходстве Запада, противопоставляя технике новые социальные идеи, воплощенные в СССР. У Глинки видим лишь ее зарождение и совсем еще иную, гуманистическую направленность: руссоистское увлечение крестьянским бытом и интерес сенти-

К вопросу о русских европейцах: «Письма русского офицера» Федора Глинки...

ментализма к частной жизни заставляет желать, чтобы и на преображенных российских просторах появилась немецкая черепица.

На этом фоне продолжает развиваться тема французской дикости: «Французы, кажется, дышат разрушением! Изящнейшие памятники искусств и художеств, пощажённые стихиями и временем, не избегают их злости. Давуст велел подорвать прекраснейший в Европе Дрезденский мост. История напишет имя его на свинцовой скрижали своей подле имен Герострата и Омара» (Ч. 5. С. 18).

Немецкие города и деревни французы жгут и опустошают: даже Веймар собирались сжечь, как Вязьму, но казаки Платова заслонили обитель муз. А вот русские солдаты, напротив, помогают немецким горожанам тушить пожар, продолжая демонстрировать рыцарство. Сделав бытовую зарисовку, повествователь завершает символическим обобщением: «Между тем как Александр Первый идет потушить всеобщий пожар Европы, западными ветрами развеваемый, войска Его гасят пожары городов и сел: подданные достойны Государя!..» (Ч. 5. С. 17). В поездке 1814 г. вновь появится Дрезден (превращённый французами из города-музея в город-крепость – ещё одно проявление дикости) и восстановленный Дрезденский мост. Распятие в честь герцога Георга II вновь стоит на мосту с новой надписью: «Разрушен – Галлами; восстановлен Александром I». И вновь символическое обобщение: «Сия надпись могла бы годиться и для общего порядка вещей в Европе» (Ч. 7. С. 23). Таких обобщений не было в первой части «Писем». Миссия России меняется, меняется самочувствие русского в Европе, меняется и структура путешествия.

Европейское пространство предстает перед нами единым целым – впервые в русском сознании. Вслед за тем путешественник разделяет его на части – в зависимости от того, как в той или иной области обстоят дела с истинным просвещением. Членение пространства на дружественное нам (христианское, просвещённое светом истины) и враждебное (нехристианское, заблудшее, греховное) характерно для древнерусских хождений¹². Глинка, как и в прочих случаях, актуализирует древний код, адаптируя его к военной ситуации. В дальнейшем любое большое европейское путешествие, особенно в советское время, так или иначе станет проводить в Европе границы по нравственному или идеологическому принципу¹³.

Организованные пространства России и Германии, живущие в страхе Божиим и европейской культуре, противопоставляются пространствам неорганизованным, бунтующим, забывшим Бога

и культуру. Во Франции поля не обработаны, людей не видно – есть только женщины и старики, мужчины скошены войной.

«Переезжаю за Рейн – и где *votre belle France!* где ваша прелестная Франция!.. Ужасно опустелые края, земля нагая, деревья увядшие и повсеместное безлюдье. – Вот, что представляется глазам: вижу пространство, но не вижу деревьев; поля необработанны, окрестности унылы, терния и волчцы растут на месте жатв!» (Ч. 7. С. 119).

Французские деревни намного хуже немецких – они нищие: «Один изрядный дом какого-нибудь Барона или Маркиза в середине, а около него кучи вместе слепленных старинною поседолою черепицей покрытых, низких, убогих и часто курных лачужек; улицы в навозе, народ в лохмотьях. Вот картина деревни здешнего края!..» (Ч. 7. С. 127). Одной из причин французской революции путешественник называет непомерную роскошь французской знати, приведшую к обнищанию простого народа. Описание французских деревень работает на эту мысль. Интересно, что французской деревне противопоставлена не только аккуратная немецкая, но и родная русская, как будто черепица уже покрыла все крестьянские дома на Волге и Оке. Антитеза последовательно разворачивается до мелочей. Сабо на ногах французских крестьянок путешественнику очень не нравятся: наши лапти красивее, легче и удобнее. Здесь завершает пассаж сентенция, касающаяся «слепого, рабского, тупого подражания...»: «Но вывези к нам **сабо** – и чего доброго! они как раз войдут в употребление и будут в чести!» (Ч. 7. С. 137).

Точно так же, как Франция, запущена земля Царства Польского: поляки – вечные бунтовщики и агенты французского влияния. Дальнейшее продвижение по французской земле влечет воспоминания о Польше: «Пустота, необработанность, безлюдье, дичь: вот слова, из которых путешественник должен составить описания свои страны сей. Кто бывал в Польско-Жидовских городах, тот разве может иметь понятие о нечистоте, поражающей взоры и обаяние здешних» (Ч. 7. С. 125–126).

Наконец, путешественник добирается до Парижа. Париж – конечная точка путешествия на Запад, окончание военной кампании и всех наполеоновских войн, а также последняя точка в движении по нравственной шкале. Развертывание пространства останавливается, достигнут символический конец света. Прибытие в Париж отмечается переодеванием из военного мундира в костюм «парижского гражданина». У этого жеста есть прагматический смысл (парижане совсем не так дружелюбны к русской армии,

как жители Саксонии), но есть и символическое значение: конец похода, конец десятилетнего путешествия.

Город-светоч в прошлом (от этого города остались Лувр, Французский театр, сад Тюильри и прочие объекты туризма, которые русский офицер посетит с традиционным восхищением¹⁴), Париж наполнен грязью – в прямом смысле слова и переносном: «Так это-то Париж! – думал я, видя тесные, грязные улицы, высокие старинные, запачканные дома и чувствуя, не знаю от чего, такой же несносный запах, как и за городом от тлеющих трупов и падл» (Ч. 8. С. 10).

Вонь и грязь как постоянная характеристика французских городов впервые прослеживается в «Письмах» Д. И. Фонвизина¹⁵. У Глинки мотив переосмыслен: это не просто «недоцивилизованность», средневековый пережиток, это прямое следствие развращенности нравов – как трупы и падаль, оставшиеся после войны. В следующем предложении путешественник смягчает впечатление: чем ближе к центру города, тем он лучше и красивее. Но и в самом центре есть место, которое пахнет во всех отношениях скверно – это Пале Рояль. Описание бывшего дворца занимает много страниц: сначала идет его история, затем роль, сыгранная им в революции. Наконец, подробно описывается сегодняшний Пале Рояль – ярмарка всего, что только можно продать. В том числе и ярмарка разврата. Вывод один: это нынешние Содом и Гоморра. Карамзин обращался с такими метафорами философско-иронически, не позволяя им определять тон повествования¹⁶. Тональность последней части «Писем» Глинки совершенно иная: цепь метафор реализуется на страницах книги и преобразует реальность. Впрочем, это не столько литературный прием, сколько возвращение к древнему коду – город абсолютного Запада (тем более столица забывшего Бога неприятеля) – это всегда Вавилон: «Что в Париже много людей, это всякий видит с первого взгляда; но много ли полезных? Об этом надо справиться. Справка не далека: тотчас узнаешь, что половину здешнего сброда надлежало бы разделить по деревням, превратить в земледельцев и сделать полезными земле; а половину самого города, сего нового Вавилона – хоть выжечь!» (Ч. 8. С. 33–34).

И хоть дальше тоже включается ирония (оказывается, что приведенный отзыв принадлежит Петру Первому. Те, кто только что выдохнул с негодованием, должны спорить с великим императором, а не с Глинкой), определение дано всерьез. Локализация Вавилона в той или иной западной столице будет очень распространена в русских путешествиях XIX–XX столетий (Достоевский, например,

в «Зимних заметках о летних впечатлениях» поместит Вавилон в Лондон, Б. Пильняк и некоторые другие советские писатели – в Нью-Йорк), этот ход Глинки тоже оказался продуктивным.

Люди во Франции, в отличие от добрых саксонцев, злы и невежественны. Учитель из города Гравелот, например, совершенно не знает географии России. Парижане дерут с русских втридорога. Они – сознательные обжоры; нет ничего более важного для француза, чем еда. Они ветрены и недалеки – поэтому так легко управляли ими Марат, Робеспьер и Бонапарт (упрек в ветрености, поверхностности ума, любви к красным словцам окажется чрезвычайно живучим; им широко пользуются даже советские путешественники). И, наконец, они совершенно не хотят перевоспитываться в духе истинного, не половинного просвещения: «Французы теперь очень похожи на спутников Улисса, превращенных в свиней: купаются в грязи разврата и ропщут на то, что их хотят сделать опять людьми!» (Ч. 8. С. 13). Гостиница, в которой живет повествователь, выходит окнами на Пале Рояль. В честь религиозного праздника ему запретили шуметь. Пале Рояль замолк впервые за двадцать последних лет. Повествователь смотрит из окна и наслаждается тишиной. Эта картина, повторяя Ф. Н. Глинку, «могла бы годиться и для общего порядка вещей в Европе». Век Парижа кончился, начинались века Петербурга и Москвы.

За десять лет русское литературное путешествие резко поменяло ориентиры. Навстречу западному ориентализму шла русская экспансия на Запад. Недолговечность книги Глинки объясняется, в числе прочего, и неудачами этой экспансии.

Примечания

¹ По свидетельствам современников, издание «Писем русского офицера» 1815–1816 гг. было раскуплено, едва вышло в свет.

² Справедливости ради следует заметить, что «Письма русского офицера» тем не менее переиздавались время от времени в разного рода военных и патриотических сериях, а также сборниках сочинений Глинки (иногда не полностью, а в выдержках). См., например: Глинка Ф. Письма русского офицера. М.: Правда, 1990; Его же. Письма русского офицера. М.: Воениздат, 1987; Его же. Сочинения. М.: Совет. Россия, 1986.

³ Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1987. С. 526–527.

К вопросу о русских европейцах: «Письма русского офицера» Федора Глинки...

⁴ Глинка Ф. Н. Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, а также с подробным описанием похода Россиян противу Французов, в 1805 и 1806, а также отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 г. Ч. 1–8. М.: Тип. Селивановского, 1815–1816. Ч. 1. С. 1–2. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием части и страницы.

⁵ Травников С. Н. Путевые записки петровского времени (проблема историзма). М., 1987. С. 83–85.

⁶ Как показал А. Г. Тартаковский, в основе «Писем» действительно лежит современный событиям дневник, однако в дальнейшем дневник подвергся серьезной ретроспективной обработке, окончательной редакцией которой и стало издание 1815–1816 гг. (Тартаковский А. Г. К изучению текста «Писем русского офицера» Ф. Н. Глинки // Источниковедение отечественной истории: 1981. М.: Наука, 1982. С. 199–207).

⁷ Восхищение Барклаем-де-Толли (совершенно не популярным в армии осенью 1812 г.) и эпизод с парящим орлом, относящимся не ко времени прибытия Кутузова в армию, а к молебну перед Бородинским сражением (подтверждается воспоминаниями ординарца Кутузова А. Б. Голицына и письмом сотрудника дипломатической канцелярии русского штаба И. О. Анштетта к К. В. Несельроде), А. Г. Тартаковский полагает очевидными ретроспекциями «Писем» (Тартаковский А. Г. Указ. соч. С. 201, 206–207).

⁸ Впрочем, есть еще одно сравнение – с гибелью Лиссабона. Речь идет о землетрясении 1755 г., известному Глинке, вероятно, по поэме Вольтера. Впрочем, неразличение классического наследия и классицистического искусства характерно для всей той эпохи, в том числе и для Карамзина: его Анахарсис – не исторический скиф, а герой романа Ж. Ж. Бартеlemi «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» (1788).

⁹ В списке книг, которыми пользовался Л. Н. Толстой во время писания «Войны и мира», составленном Э. Е. Зайденшур, «Писем русского офицера» нет. В нем указана

книга брата Ф. Н. Глинки – Сергея Федоровича Глинки «Записки о 1812 г. Сергея Глинки, первого ратника московского ополчения» (СПб., 1836). Эта книга сохранилась в библиотеке Ясной Поляны (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: ГИХЛ, 1955. Т. 15. С. 141).

¹⁰ Said E. W. Orientalism. New York: Pantheon Books, [1978]. P. 3–6.

¹¹ Глинка проделал с армией только зимне-весеннюю кампанию 1813 г.; в июле 1813 г. отправился из Рейхенбаха на родину, поселился в своем имении, откуда наезжал в Москву. Во второй половине марта 1814 г., уже после заключения Парижского мира, Глинка вновь выехал в Европу, в июне 1814 г. добрался до Парижа, пробыл там несколько недель и вернулся в Россию летом 1814 г. (Тартаковский А. Г. Указ. соч. С. 192).

¹² Лотман Ю. М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 407 и далее.

¹³ Подробнее см.: Пономарев Е. Р. Типология советского путешествия: совет. путевой очерк 1920–1930-х гг. СПб.: СПГУТД, 2011. 275 с.

¹⁴ Впрочем, Тюильрийский сад ему не слишком понравится, ибо в нем нет естественности. Путешественнику более нравятся английские сады. Здесь, по всей видимости, сказывается не только вкус сентиментализма, но и неприятие всего французского.

¹⁵ Фонвизин Д. И. Собр. соч.: в 2 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1959. Т. 2. С. 418.

¹⁶ См., например, о Берлине: «Нравственность здешних жителей прославлена отчасти с худой стороны. Г. Ц[иммерман] называет Берлин Содомом и Гомором; однакож Берлин еще не провалился, и Небесный гнев не обращает его в пепел. В самом деле, Г. Ц., писав это, забыл, что во всех семьях бывают уроды и что по сим уродам нельзя заключать о всей семье» (Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1987. С. 47).